

БЕС ДОНОСА (СОЛОГУБ И ДРУГИЕ)

Александр Флакер

Роман Сологуба *Мелкий Бес* сплачивает воедино несколько основных тем вокруг центрального характера – Передонова, действующего в безымянном городе – метонимии русской действительности. Хотя по некоторым данным текста нетрудно определить историческое время действия романа,¹ роман лишним историцизмом не страдает. Один из сквозных мотивов романа – мотив доносов, и частотность этого мотива позволяет нам говорить о доносительстве, как одной из основных тем романа.

Тема доносов органически растет в романе из мотивов сплетни, и с ними остается в постоянной связи. Сплетня ведь, как “недоброжелательный или порочащий слух о ком-нибудь” (Ушаков 1940: 442) – это первичная форма доноса, нецеленаправленная по отношению к институтам репрессии.

¹ Ср. ссылки на реалии русской “социально-политической атмосферы” в романе в комментариях М. В. Козьменко к цит. изданию (Сологуб 1988: 290-291 и дальше). Добавить надо комментарий к высказыванию Авиновицкого: “Наука признала, что есть врожденные преступники (...) Их истреблять надо, а не кормить за государственный счет” (98). Разумеется, это намек на теории Ломброзо, распространившиеся в России в применении к литературе и искусству, благодаря переводам книги Макса Нордау *Вырождение* (два русские издания 1893). Макс Нордау обвинял в этой книге “декадентов” за “врожденную” преступность, и доходил до требования их “истребления” во имя “здорового” общества. Книгу прекрасно знали символисты, а сыграла она определенную роль в “марксистской” критике “декадентства”. На Нордау ссылался, между прочим, и Горький в статье “Поль Верлен и декаденты”.

Сологуб и сам великолепно понимал значение романа, как романа о доносчике, намечая в будущем для Передонова “хорошую карьеру” на службе в полиции, или же занятия литературной критикой, в которой тоже могут сказываться “те черты, которые отличали его и раньше” (Сологуб 1988: 21). Уже в 1909 г. Сологуб литературную критику считал возможным органом репрессии!

На протяжении всего текста его персонажи подсматривают друг друга. Уже в первой главе Вершинина докладывает о том, как Черепнин “у окна подсматривал” (31), несколько позже, “подглядывает” Варвара (43), или же садится “у окна смотреть, что будет на дворе” между Передоновым и Ершовой (47). “Как это мило – за дверьями стоять и слушать” – за всех говорит Адаменко (72). Сплетничают в романе решительно все: сплетничают персонажи на “эротические темы” (Грушина, 65), на тему поведения гимназистов (Рутилов, 67) а Адаменко опять обобщает: “Она увидела, что возможен только один разговор – городские сплетни” (72).

Занятие сплетнями присуще даже эстетизованной Людмиле, которая тоже “выглядывает тайком в окно, стараясь услышать что говорят”, но ее сплетни не имеют недоброжелательной цельности: “А я каждое утро буду по городу ходить, все сплетни собирать, а потом вам рассказывать. Превесело” (58).

Это Людмила рекомендует себя Передонову, принимающему однако сплетни всерьез. Опасается он все-таки не столько сплетен, сколько доносов. В доносительстве подозревает всех: Ларису (“Донесет, мерзавка”, 27), Володина, прислугу, поступившую “к жандармскому” (“Наскажет, чего и не было, а жандармский на ус намотает и, пожалуй, напишет в министерство”, 65), боится слухов о своем мнимом продвижении в инспектора (“Донесут, и крышка”, – “Скажут, что я Писарева читал”, 38). Опасаясь доносов, Передонов сжигает “строжайше запрещенные книги” (“Донесут, коли увидят”, 66), показывается в церкви (“еще донесут, пожалуй”, 81, 92), защищает себя перед возможными доносами (“А что у меня Мицкевич висит, так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал”, 100), боится жандармов, исправников, прокуроров, как “страшных представителей полиции и суда” (88), а ему принадлежит и обобщающее высказывание: “Уж у нас такой город – сейчас донесут” (66). Особенно надо подчерк-

нуть опасения Передонова перед идеологическими доносами (за чтение Писарева, за портрет Мицкевича), и его же страх перед разговором “без предварительной цензуры”, хотя здесь речь идет о бытовом разговоре “при дамах” (185).

Защищая себя перед общим доносительством, Передонов и сам начинает доносить, превращается в субъект доносов. Он начинает грозить Грушине (“А вот я на вас донесу”, 65), а потом уже сознает, что в мире доносчиков, надо и самому доносить, “чтоб от себя отвести подозрение” (75). Он уже выступает на путь доносчика, когда школьному инспектору доносит на учительницу, которая “в красной рубашке ходит” (82), и сразу после того грозит ученику, что скажет отцу, якобы он “в церкви улыбался” (83). С VIII главы начинается хождение Передонова по влиятельным лицам, мотивированное превентивным действием с целью защиты от возможных доносов, и превращающееся в доносительство. Если хождение Чичикова по помещикам мотивировано желанием наживы, и если хождение Нехлюдова по инстанциям мотивировано синдромом “кающегося дворянина” и поисками справедливости, то хождение Передонова - это хождение доносчика, вращающегося в системе, основанной на репрессии и доносах. Городскому голове начинает он только жаловаться на притеснение со стороны директора, прокурору он уже жалуется на то, что директор в школу слышком много крестьянских детей принимает и гимназистов распускает, и именно здесь, у Авиновицкого, в его сознании стирается граница между положением объекта и субъекта доносов: Передонов осуществляет сейчас свое раннее намерение донести на Грушину, но

...что он погрозил доносом Грушиной, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. Он ли донесет, на него ли донесут, – было неясно... (100)

Следуют доносы идеологические: предводителю дворянства доносит Передонов на “учителей нигилистов”, учительниц, которые “в бога не верят”, и повторяет донос на Скобкину, которая “в красной рубахе ходит” (103-104). Исправнику Передонов предлагает свои услуги, опасаясь чужих доносов (“А я и сам могу донести”, 113), и уже позже доносит жандармскому офицеру на Адаменко, якобы она “переписывается с социалистами, да она и сама такая” (186),

а на обвинения директора гимназии отвечает обвинением нотариуса Гудаевского, по существу доносом идеологическим: “Он в церковь не ходит, в обезьяну верует, и сына в ту же секту совращает. На него надо донести, – он социалист” (191). Мания доноительства ведет Передонова к потребности выслеживания у учеников, кто “дурные слова говорит” (123), требовать от них доносов “по секрету” (125). Климакс выслеживания образуется вокруг “случая” с Сашей Пыльниковым, понадобившемся Передонову для очередного доноса директору (“один я уследил”, 132).

И тут появляется встречное движение: выслеживающий опасается выслеживания. Он правда в начале отвергает от себя опасность (“Они совершенно напрасно меня выслеживают”, 113), но только несколько позже Передонову начинает чудиться, “что кто-то выслеживает и крадется за ним” (122), и уже синхронно с его собственным почином выслеживать Сашу Пыльникова (“Это надо расследовать”) появляется впервые следящая за ним “маленькая, серая, юркая недотыкомка” (125).

После *хождения по начальству*, начинается передоновское *хождение по родителям*. Цели этого хождения не тождественны, но они все-таки созвучны посещениям начальников. Вместо доносов сейчас появляются *жалобы*. Передонов жалуется на учеников, за то, что они “шалют в церкви” (138), за то, что они “ленивы, невнимательны, в классе не слушают, разговаривают и смеются, на переменах шалют” (173), и именно эти жалобы активизируют его манию преследования (“Ему казалось, что кто-то все стоял около дома и теперь следит за ним”) и вслед за тем уже второй раз появляется недотыкомка (178). Жалобы же на учеников вызывают ответное движение: родители жалуется на Передонова (“Поступали и жалобы. Начала Адаменко...”, 179). Мания преследования усиливается, причем она относится – к доносчикам:

Кого же он высматривал? Доносчиков. Они прятались за все предметы, шушукались, смеялись. Враги наслали на Передонова целую армию доносчиков. Но они всегда успевали во время убежать, – словно сквозь землю провалятся (180).

Передоновское видение “донсчиков” явно корреспондирует с видением “недотыкомки”, прячущейся за предметы, смеющейся и убегающей. И в собственном коте видит Пере-

ДОНОВ ДОНОСЧИКА:

Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому, и там вымурлычет все, что знает о Передонове и о том, куда и зачем Передонов ходил по ночам, – все откроет, да еще и того примяукает, чего и не было (187).

Доносчиков видит Передонов в своих учениках (“Уж не знает ли он чего-нибудь о Передонове? Знает и хочет донести”, 190), он у себя на квартире смотрит “нет ли где чего такого, о чем могут донести” (192), он прокалывает глаза картам, лишая “королей и дам возможности досаждать ему подсматриваниями” (192), и будущего доносчика видит уже и в Варваре (“как только за меня замуж выйдешь, так на меня и донесешь”, 196). Появляется и понятие “соглядатая” (201), а до конца романа чередуются мотивы выслеживания (“Везде выследят”, 218) с мотивами подсматривания (“Тучка бродила по небу [...] подсматривала”, 222), нашептывания (“они наговорены да нашептаны”, 223). Все чаще появляется недотыкомка, причем ее появление сопровождается мыслями о тотальном полицейском надзоре:

В каждом городе есть тайный жандармский унтерофицер. Он в штатском, иногда служит, или торгует, или там еще что делает, а ночью, когда все спят, наденет голубой мундир, да и шась к жандармскому офицеру (...)

Иногда он даже оборотнеем живет. Ты думаешь, это просто кот, ан врешь! Это жандарм бегаает. От кота никто не таится, а он все и подслушивает (225).

Передонов начинает думать, что и сама княгиня “приехала сюда за ним следить” (227), что она “заглядывает в окошко, в дверь, подслушивает”, “доносит на него”, окружив “его соглядатаями, которые всюду следят за ним” (228). И он вновь переходит к “защите”:

После обеда он (...) садился писать доносы на всех, кого только вспомнит. Писал доносы не только на людей, но и на карточных дам. Напишет – и сейчас несет жандармскому офицеру (233).

Среда, в которой Передонов вращается, не остается в долгу: к концу романа усиливаются мотивы реальных “доносов на Передонова” (249). И в карнавальной ситуации появляется перед ним, обещавшая ему некогда веселые

сплетни, Людмила, и гадает ему кончину в результате доносов: "... врагов у тебя много, донесут на тебя, плакать будешь, умрешь под забором" (266).

Речь сейчас идет о реально существующих доносах! Передонов является таким образом и участником и жертвой системы, основанной на сплетнях, выслеживании, соглядатайстве и доносительстве, круга из которого нет выхода. Предлагается единственный выход – в противопоставленный этому миру – эстетико-эротический мир. Ведь только карнавальные и эротические похождения могут остаться тайною "в городе, кишасщем сплетнями, в городе, где все обо всех знали" (274).

Как роман, в котором чуть ли не главенствуют мотивы выслеживания, соглядатайства и доносов, превращающих человека в доносчика и жертву доносов, *Мелкий бес* – не единичное явление в русской литературе нашего века. Приводим здесь другой пример, причем не, во многом родственный, хотя гораздо более сложный, *Петербург*, а уже послереволюционные *Записки чудака* (1922) Андрея Белого. *Записки чудака* построены вокруг путешествия автора из Дорнаха и Базеля, через Париж, Лондон и Норвегию в Россию во время первой мировой войны. Беллетризация путевых записок проводится на уровне отделения автора от личности рассказчика, путем ретроспективных глав, выявляющих, между прочим, его отношение к любимой женщине, на уровне включения мотивов и образов, относящихся к антропософии Штейнера или же непосредственно к мироощущению рассказчика. Настоящими же путевыми записками главенствуют в основном мотивы постоянного наблюдения за путешественником, возвращающимся на родину с границы театра военных действий. Уже в главе "Комната" появляется мотив вездепришущего и не относящегося к определенному государству *шпика*:

Я знаю: в бумагах, в набросках моих без меня (...) копались жадные руки; и *господин в котелке* вероятно просовывал нос в мои выписки, даже в стихи (я бумаги нашел в беспорядке); воображаю досаду "шпика", не понявшего выписок. "Шпик" был немец, француз или ... "бритт" (Белый 1922:1. 18).

В главе “Берн”, посвященной посещению консульства, мотив шпики разворачивается, мотивируются подозрения к возможным “преступникам”, приводящие к этической инверсии (“братство, любовь, человечность, все лучшие чувства души – шпионаж и измена”, 1, 22), приводится процедура “допроса”, и речь идет о надзоре в Швейцарии:

С той поры водворили за мною *они* свой надзор; фигура подобная *иезуиту*, сопровождала меня: в поездах, на проспектах туманного Базеля, Берна, Цюриха; посылали за мной к ледникам дозирувшего горца; его я встречал выходящим из щели утесов, в таверне нагорной деревни; старался он дать мне понять, что его обмануть нет возможности ... (1, 24).

Безумянное “они”, обозначающее всеевропейскую систему надзора над отдельной личностью, дает заглавие следующей главе. Она посвящена “Холмсам всех стран и народов (...) шпикам, офицерам, чиновникам трех министерств просвещеннейшей Англии, полисменам, жандармам, прохожим и случайным собеседникам по вагону” (1, 28-29), причем появляется и понятие “соглядатаев” (1, 32) замеченное нами у Сологуба. Глава содержит и обобщение тотального соглядатайства:

Представители государственного порядка всех стран и народов? Но “Государство” – экран, за которым *они* схоронили ужасную тайну свою, “государственный агент” – бессильнейшая марионетка (...); “они”, надувая людей, бессознательно преданных им, через *них* выдувают в историю государственных отношений смерчи: мировых катастроф – войн, “болезней”; “охранка” Невидимых Сыщиков – за спиной у охранного отделения Европы; и появившись только личность, – они постараются наложить на нее свое злое клеймо: *государственного преступника* (1, 30-31).

При всех разновидностях “соглядатаев”: “подобных иезуиту”, “брюнетов в котелке”, “холмсов” и других доносчиков (“Он доносит на вас”, 1, 32), рассказчик-чудак видит некоторый интернационал “шпиков”:

Тогда: появляются представители международного сыска (в международное бюро сыска наверное входит по представителю всех стран, и разведка и контр-разведка, встречаясь тут, благодушно работают вместе) ... (1, 32).

Мотивы эти разворачиваются в главе о переходе через французскую границу (*Рубикон перейден!*), причем, согласно

уже обозначенному мотиву “холмса”, приемы “шпиков” рассказчик связывает с достижениями романа как жанра:

... психологический сыск виртуозен у них, нужно двадцать столетий развития, чтоб приемы утонченных романистов пресуществить в контр-разведку... (1, 139).

Каких “утонченных романистов” имел в виду Белый? Только ли Конан-Дойля, или, может быть, уголовные фабулы Достоевского, или же “соглядатайство”, как систему у Сологуба?

В главе “Платформа” вновь встречаем “брюнета в котелке”, а следующая глава “За границей сознания” продолжает развивать мысль об интернационале шпииков, – как “братства, подстерегающего все нежнейшие перемещения сознаний” и организующего во всей Европе “общественную, кружковую и личную жизнь, пропитав ее ядами” (1, 151).

Мотивы “брюнета в котелке” преследуют автора по пути в Париж, из Парижа в Гавр, а в главах о Лондоне видение Лондона, как призрачного города, чередуется с “ними” в “их” разновидностях, провоцирующих или следящих за субъектом текста, “изучающих” людей, как “на картине кинематографической ленты” (2, 29), и передающих информацию по целой системе связей, идущих от отдельного шпиика или консульства до лондонских “трех министерств”. Итог этой системы – “расплюснутая” личность: “Так я был расплющен” (2, 157). Одна из последних глав, относящихся к путешествию через Норвегию, озаглавлена просто – “Сыщики”. Рассказчик здесь уже сам изучает стили отдельных разведок, и находит разницу между стилем “сыщика французского Генерального Штаба” (2, 201), “стилем англо-саксонской разведки” (2, 205), и стилем “представителя последней разведки” – греком Дедалопуло (2, 205). Глава же “От Хапаранды до Белоострова” содержит “инсценировки – всех трех разведок: английской, французской и русской” (2, 207), и соответственно своей позиции изучающего “стили” и “инсценизирующего” субъекта, в сущности сам рассказчик превращается в литературного “соглядатая”, исследующего поведение шпииков “международного общества” – непосредственно перед приездом в революционную Россию!

Надо заметить, что до появления текста Белого тотальное соглядатайство и доносительство получило значитель-

ное место у писателя с более длительным английским опытом, в романе *Мы* Евгения Замятина. Речь идет, разумеется, о проекции в будущее тоталитарного Единого Государства, развивающего целую систему надзора и контроля посредством многочисленных “ангелов-хранителей”, однако на высшем техническом уровне даже от “кинематографической ленты”, которую будто бы предугадывал Белый. Замятин предугадывает другое: технику прислушивания:

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка – странное существо, состоящее только из одного органа – уха (Замятин 1988: 42).

Однако, институт доносчиков и шпииков не исчезает в обществе будущего, не смотря на его “инженерию”:

Тут я опять почувствовал – сперва на своем затылке, потом на левом ухе – теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он, явно, заметил, что книга на коленях у меня – уже закрыта и мысли мои далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял - или не захотел понять – он ни о чем меня не спросил ... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели... (50-51).

Наименование сословия государственных шпииков “ангелами-хранителями” у Замятина мотивируется традицией:

Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных “архангелов”, приставленных от рождения к каждому человеку (39).

Замятинский “ангел-хранитель” реализуется у Маяковского в советском быту года, в котором опубликованы *Записки чудака*, но со ссылкой, еще на другую традицию. В поэме *Про это* (1923) читаем:

Не бьют –
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей духов и фей
ангел-хранитель –
жилец в галифе.
(Маяковский 1957: 4,161).

Замятинский рассказчик ссылается на христианский миф, Маяковский в период “домкомовский” добавляет ссылку на мифы языческие: на русских “домовых” или же на римские “пенаты”. Принадлежность “ангелов-хранителей” к русскому быту у Маяковского подчеркнута, однако “жилец в галифе” – это уже обозначение советского периода. Добавить надо, что соллогубовский роман о болезненном доносительстве стоял под запретом с 1933 по 1958 год, и что в нормативном словаре 1935 года слово “донос” толкуется только как “орудие борьбы буржуазно-черносотенной реакции против революционного движения”, а понятие “доносительства” считается книжным и – устарелым (Ушаков 1935: 766)!

БИБЛИОГРАФИЯ

- Белый, А.
1922 Записки чудака. I - II, Москва-Берлин 1922.
- Замятин, Е.
1988 Сочинения. Москва 1988.
- Маяковский, В.
1957 Полное собрание сочинений, 4. Москва 1957.
- Соллогуб, Ф.
1988 Мелкий бес. Москва 1988.
- Ушаков, Д. Н.
1935 Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова, И. Москва 1935.
1940 Толковый словарь русского языка, IV. Москва 1940.